

Галина ЩЕКИНА

РЫДАЛЬНОЕ КРЕСЛО

У них на работе было глубокое кожаное кресло. Стояло оно в гостиной, где музыкальный центр и чайник в уголке за большой пальмой. Обычно в него усаживали тех, кто больше уже не может. Капали корвалол в чашку либо что другое. Гладили по голове и оставляли в покое. И человек, погружаясь в кресло, приходил в себя постепенно. Но сейчас в нем сидела сама хозяйка по имени Нила. Душа ее рыдала. Хотя сама Нила и рыдать не могла, и дышать не могла, только ртом зевала.

Ей прислали кучу денег, они лежали перед нею твердой стопочкой под железной скрепкой. Их прислали на печать журнала две женщины, Рора и ее мать. Они в глаза ее не видели, а просто взяли и отвалили. Им не то чтоб Нила была важна, а сама идея, наверно. Яростное желание осуществить что-нибудь или уничтожить.

Рора была художница. Ее графика оказалось волнистой и волнующей, в ней плыли сферы и стреляло электричество. Нилке Воиной так сильно понравилась графика, что она взяла ее и распечатала на меловке. Когда картинка висела на стене, комната наполнялась музыкой. Так и запишем: «Музыка сфер». А человек из офиса буркнул — так давай уж сошьем тогда. Сшили. Получился тяжелый блестящий журнальчик. Взяли и напечатали альбом графики, десять штук. Получилось дорого. Рора скупила все, чтобы сжечь! Нилка тогда еще не понимала, как оскорбила творчество Роры своим прикосновением. Это же вам не лубок в бане на бревна лепить. Но несколько лет были только письма.

Письма были порывистые и утешающие.

Рора писала: «Родная, здравствуй. Извини, что задержала ответ. Я так некстати выпала из своего рождения. Имеется в виду новый этап творчества, рождение в новую фазу. Сначала полетела моя машинка, не выдержав моего творчества, она вынесла даже пресловутые 602 страницы и все предыдущее творчество мамы, но на моих поисках божественного смысла в местоимениях русского языка захлебнулась почтительным ужасом. Полетел мотор, потом неделю искали мастера, потом чинили, слава Богу, работает пока. Ей уже тридцатник, она очень честная немецкая вещь благородного происхождения. Как видишь, у нее все еще шрифт не стерт. Привязалась к ней, как привязалась в свое время очень душевно к швейной моей подруге, к стиральной. Это надо было три года после нашего с мамой разезда отдавать барахло вручную, чтобы оценить собственную нежность к бытовым механизмам. Поломка машинки — длинные паузы в творчестве, теперь все придется начинать сначала. Так что это трудно сделать, я даже не помню, что я там писала. Трактат немилосердно размножается. Мама утверждает, что это будет книга, я с надеждой поправляю: «Маленькая книжечка», — но у меня сомнения. Я прихожу в ужас от всех будущих объемов, потому что, как оказалось, чтобы добраться до прозы как таковой, надо сначала проследить биографию слова как такового. В итоге обнаружилось, что придется заново переписать учебник русского языка, потому что правила языка — это совершенно поворотные вещи. Если хотя бы обозначить, кто-нибудь и после моей жизни сможет произвести революцию в сознаниях. Говорите. Я уже не успею потому, что для этого нужно дополнительное время. Никак невозможно. Все душераздирающее интересно, никто кроме меня ничего этого не видит, время пришло искать новые взаимоотношения между словом в творчестве. Литературоведческая работа отодвигается до следующего времени, когда будет поставлена точка...»

Заглянуть в Рору — это заглянуть в бездну. И страшно, и заманчиво. Дело не только в ней. Еще и в самой технологии писательства. Это затягивает, как наркотик. Она рослая, внушительная, в рябой юбке в сборку, с засученными рукавами. Волосы стянуты косынкой. Она режет лук, смахивает что-то с лица. А тебе кажется, что и говорит она не по-русски.

«Мы с мамой получили твое письмо, я ходила полдня бушевала, не могла сесть и ответить сразу, потому что первая реакция на жизненные трудности у меня, как правило, сугубо негативная и разрушительная. Решила немножко остыть, прежде чем.

Ты понимаешь, я в Москве встречалась и вела беседы с Витой. Туда же, зная, что я там буду, подъехала и Татьяна, известная всем певица и поэтесса. Она только приехала из Гамбурга. Наверно, выступила успешно, как всегда. По телефону я с ней договаривалась, очень просила, чтобы она с тобой созвонилась и уговорила приехать в Москву. Зная, что денег на дорогу у тебя не будет, я просила убедить тебя, объяснить,

что на данный момент я вполне могу себе позволить оплатить твою дорогу в Москву и обратно. Мы с мамой ждали, но Таня приехала одна, и на вопрос, где же искомая нами Нила и разговаривала ли она с этой самой Нилой хотя бы по телефону, как я просила, Таня немного помялась. Но, как честный и достаточно ответственный человек, призналась, что хотела бы тут общаться наедине. Это было смешно, ибо Татьяна к общению наедине мало способна, ибо поэт. Тогда я отреагировала вяло, но, получив вчерашнее грустное письмо, вдруг пришла в медленную ярость. Чувствую же, что ты там на последнем издыхании, — и была возможность хоть как-то душевно поддержать. Сама я тогда приехать не могла — с собакой, без жилья, с мамой, шмотьем, сама понимаешь. В доме с безответственным подростком».

«Весь этот разговор у меня вчера всплыл, как пощечина. А я бегала по комнате с неподшитой ночной рубахой и ничего делать не могла. Эта наша девочка не помнит собственного убожества, забыла, как носились с ней два взрослых человека, как редактировали и обучали, как мама ночами раз за разом перепечатывала ее рукописи к семинарам — ну, не автору же, в самом деле, их печатать! Как пихали на все семинары, как жила она у нас несколько лет, как, как...»

Но своего не внушить. И, что обидно, свое из чужого, свое, уже искаженное и перевернутое, не вернешь вспять. С Таней понятно, она хороший, искренний человек, но — поэт, а это, в моем понимании, не переменный наивный и добросердечный эгоцентризм. Тем более, у нее сейчас и работа хорошая, может, спонсировать будут, и диск, возможно, выпустят. Этого она, без сомнения, всей своей открытой сутью и по Божьему закону жизнью заслуживает. Но как быстро все забывается! А наша девочка — это серьезно. Принимать помощь старших, более опытных друзей — да, это нормально. Но почему же эта помощь так легко забывается?

А теперь — мое отношение. Оно неоднозначное. Во-первых, считаю, кто сегодня пишет на этом самом графоманском уровне (не будем его прояснять, ибо чем мерить меру, не знаем, знаем только — мое и не мое), графоманами быть не могут, ибо за это не платят сегодня. То есть, платит сам автор этим самым убожеством, ибо он — у Бога. Мычит, телится, две заглавные, три согласные, но пишет, предчувствуя Бога, а не по идеологическому заказу. И лично я совсем не хочу, чтобы это ненормальное племя совсем вымерло. Оно должно жить, а чтобы жило — вначале его надо полить и удобрить: вниманием, публикацией, бескорыстием. И пусть потом шагают по головам и предают — прощай им, Нила, трудно, но не предавай. Потому что всякий, кто пишет, — живет с разными нравственными границами и ищет новое применение Божьему закону. Отсюда и кувыркание от неуверенности в своем праве на существование, от чувства «убожества».

Единственное, что может сделать мудрый или творческий человек, когда предает себя, — понять, что с этой минуты его жизнь идет на убыль, ибо он убивает творческое начало этим предательством. И в качестве художника уже может не состояться. Это мало кто понимает, несмотря на очевидный опыт вокруг. И это нужно повторять и повторять, это хуже воровства и грабежа. Однако, закономерно, это испытание для творца неминуемое. И ты, Нилка Волина, мать своих детей, одного мужа и двух десятков неизвестных авторов, ты здесь ни при чем. Ты потому и Волина, что можешь терпеть, прощать и все равно делать то, что нужно, хотя кажется, что это никому не нужно. Вот такая у тебя воля. В запасе у тебя много христианских щек, которые придется подставлять. И для тебя отказ от выпуска журнала «Свеча» — отказ, быть может, добровольный, а не вынужденный, — твой уровень отступничества. Хотя я теоретизирую, не зная. Просто таков закон, который мы когда-то избрали. Пусть предадут, лишь бы двигались куда-нибудь, лишь бы писали. Пусть злословят. Для них, может быть, это губительно, но ведь каждый поэт не один во Вселенной, и что бы он о себе ни думал, есть общий процесс, и не дай ему Бог прекратиться. Журнал «Свеча» — как бы кто его ни оценивал — новорожденные кровеносные сосуды, по которым течет робкое дыхание души вашего города.

И страшно, если вовремя не поддержат. Когда у человека есть выбор, кто-то должен стать той бабочкой на штанге (из «Ну, погоди!» — помнишь бедного волка?). Ты вот эта бабочка — и не сожалей, не мучай себя безысходностью, хотя я знаю, что твои силы уже за пределами реальности. Наплевать. Делай свое дело, пока можешь».

Вот с какими речами они дали ей эти деньги. И ни на что другое Нилка их потратить не смогла. Она потащилась в эту типографию на краю города на двух автобусах, нашла редакторшу в свежей завивке, и они в кондейке наборного участка посчитали, сколько получится штук за вычетом бумаги, которую им порежут на бумагорезательной машине в подвале возле церкви. Но бумаги своей не было в наличии, а если брать типографскую бумагу, сильно дороже выходило. К тому же бумага в типографии серая и газетная. Какой уж тут журнал.

Раньше печатали тиражи не меньше пятидесяти штук, так как печатные пластины для оттисков были дорогие и жечь их ради десяти штук никто права не имел.

Денег дочки и матери не хватало на журнал. Нилка кинулась на грудь терпеливого мужа, ахала и булькала долго, прежде чем он понял проблему. Так Волин, потирая лоб, как разночинец в бородке и очках, вспомнил про левый рулон бумаги. Он до этого работал в небольшом издательстве, которое потом разорилось. Но с каким трудом они достали этот рулон, когда планировали печатать эмигранта второй волны! И все-таки уже забыли про этот рулон, потому что эмигранта второй волны пришлось издать в другом городе за триста км. Перевозить рулон было не на чем, и так он и завалился на складе.

Эмигранта издали очень стильно. Оформлял профессиональный художник, и вся книга была в печатях и таможенных штампах. Змеей извивалась цепочка от карманных старинных часов. Там огромную роль сыграло музейное объединение, в которое входила усадьба этого эмигранта. Именитый потомок написал музею — и пошло. Пока шли выяснения, в родном городе Волиной обнаружился этот рулон. С машиной помог Котов из органов, пригнал микроавтобус. Ехали на склад — боялись, документы не сохранились. А микроавтобус уже подползал скромненько к складу. Волин тихо, но с достоинством постучался и, едва дверь открыли, приготовился спросить про рулон бумаги — спустя три года, как сюда его привозил. А кладовщик широко улыбнулся и не стал даже спорить.

— А, издательство. Забирай ваше добро. Сколько можно!

А если бы он накладную спросил? Был бы конец. Но кладовщик увидел благородное лицо разночинца Волина и не спросил накладную.

Дал трап, и они с Котовым закатали рулон в микроавтобус, где сидела дрожащая Нилка Волина в голубом финском плаще, который был ей велик. А не барыня! Плащ ей достался от другого эмигранта, который помогал христианской миссии и прислал посылку. Волосы у нее стояли дыбором от ветра, от страха и от пафоса. Она знала, что причастна к важной общественной акции. Она не хотела обмануть высокое доверие Роры и ее матери.

Они съездили, порезали рулон — недорого вышло. И тогда снова редакторша посчитала и решила: хватит на тираж в пятьдесят штук. Так много! А у Нилки Волиной уже был черновик. Она в глухие девяностые заразилась идеями феминизма и собрала первый в ее жизни женский номер журнала «Свеча». И там, конечно, были философские статьи, а также размышления о женском творчестве, а также судьбы загубленных в провинциальной глуши женских талантов. И еще мужчины о женщинах в стихах. И стихи самих женщин — эмигранток из Канады и Португалии и местные жемчужины. Это было половодье женского стиха.

Как писала любимая Нилкой Татьяна Бек: *«И родина, где я росла ветвьась, / Меня не видит и толкает в грязь, — / И мусор доморощенных жемчужин / На откровенном торжище не нужен, — / И город, где я счастлива была, / Закрыв ворота и сгорел дотла, — / И прохутились сапоги, в которых / Я шла на свет, — и драгоценный ворох / Всего, что пело, я кидая в печь... / Коль сгинул век, — то не себя ж беречь!»*

Она и обложку придумала — воздушный рисунок ее другой подружки, препода художественной школы. Женщина с гитарой и волосы по ветру. Ах! Редакторша забраковала обложку: не пропечатать на наших станках. Тащи глазастое, контрастное. Пришлось тащить «Царскую невесту», которая стоит бедная, нагая, а вокруг мамкиненьки глазуют, ровно на товар пялятся.

Нилка была как в бреду. Она развешивала страницы на стенку в большой комнате, чтобы походя их читать. И муж, странное дело, такой рассудительный человек, тоже загорелся и помогал. И статьи давал, вот какое дело. Ведь к тому времени у них уже был компьютер, который печатал зеленые буквы на черном фоне. Они набирали тексты сами. Как будто революционеры-подпольщики. И относили редакторше на верстку. Не знали, как бы скорей сходить на работу, прибежать домой, проглотить перловую кашу с маргарином и соленым огурцом и снова тархтеть, щелкать, забывая обо всем.

К ним прибежали дети, требуя колготок и внимания. Переворачивались полки. Со шкафа падали книжки, потом опять все утихло, и стучали клавиши.

Там была женщина, которая развивала областной кинопрокат и ездила на фестивали закупать новые картины. Но ее задушили местные чиновники. Сначала уволили, потом пришили порнографию, скорей всего, чужую... Там была пианистка, ездившая по районам, игравшая в обледеневших клубах. Была поэтесса, которую не приняли в союз, потому что она отринула литературного начальника как мужчину. Была журналистка, которая гремела с концертами от Череповца до Гамбурга. А как же. Не пела она на праздничных концертах в местном театре. Зато в Гамбурге ей залы давали.

«Ваша светлость октябрь, / перед вами стою на коленях, горьких ягод отведав, /

окрасив багрянцем ладонь. / Я — последний листок / из потерянного поколения, / что вдоль осени прихотью / вашей безвольно вedom. / Сколько было нас? / Воинство наше бессчетно, несметно... / Наш языческий гомон молитвой летел на восток. / Ваша светлость октябрь, / вы пришли, как всегда, незаметно. / Что осталось от братьев моих? / Я — последний листок...»

Была очень крутая столичная поэтесса, которая не могла пробиться ни на одно писательское совещание! Нилка думала, что она всех выше и может всех презирать, но нет, она тоже рыдала от обиды в своем рыдальном кресле. Никто не миновал из наших сестер...

Ну, конечно, не обошлось без поэтессы, якобы убившей мужа-поэта. И никому не приходило в голову заступиться за жертву алкогольного психоза. А только посадить и травить. И потом — делать все, чтоб не выпустить. И снова травить... Пока сама себя не оговорит. Травить много лет после того. Вот интересно, о чем написала сама Волина? Она написала обзор книг, где женщина была безумна. Любопытный обзор психотипов и своеобразный приговор обществу. Через несколько лет, когда знакомые и друзья спрашивали Волину «почему?», она только пожимала плечами. Сама не могла объяснить. Просто захлестнул приступ жалости и сочувствия к ее сестрам, которые прожили такую жизнь. Ведь даже мужчины в том номере впервые заговорили от имени женщин. И отчет о гендерной конференции оказался напечатан, и читать его было нескучно. Да, социальный фон слишком затуманил мозги Волиной. Знала же она, что острота эта временная. Но это ж исторический момент был такой. Она мечтала сделать срез, и сделала срез.

Через год Нилка Волина, молодая и доверчивая овца, снова получила письмо от Роры и ее матери. Письмо зияло ямой и спрашивало: «Как ты посмела?» И она стала судорожно собирать эти мелкие копеечные чеки, чтоб показать, что себе ничего не брала. Может, и был чек, но он остался в столе на работе, а ее оттуда в очередной раз уволили. Ей не поверили. Какие чеки? Кругом был черный нал, и редакторша могла принять те деньги как материальную помощь. Журналы довольно быстро рассосались по библиотекам и по рукам бедных авторов. Библиотеки на формирование фондов денег не имели, авторы тоже. Нищая Нила стала благотворителем, но слова такого она не знала. А может, журналы остались в спецфонде, который при реорганизации перевязали бечевой и отправили в утиль? Кто же их разберет. Нила думала, что библиотека — это свято, как сейф, но увы. Она еще не поняла, что библиотека — это проходной двор.

Волина не умела продавать высокое искусство и потерпела крах по всем направлениям. Она сидела в рыдальном кресле и спрашивала у потолка, в чем ее вина. Она вообразила себя редактором! А редакторами должны были стать они. Она не догадалась у них спросить. Как ты посмела? А можно было это как-то озвучить? Нет, не могли они. Им легче было все купить и сжечь, но было поздно.

Если разобраться, служение было? Было. Таланты открыты? Открыты. Болевые точки современности найдены? Найдены. А чего еще? Какого рожна? А такого рожна. Рора уже не могла получить в руки тираж, чтобы сжечь. Как получила журнал со своей волшебной графикой. Она взяла тираж графики и все сожгла. А тут — невозможно.

Так вот зачем существует рыдальное кресло! Чтоб гореть на вечном огне беспощадной совести! С теми журналами, которые рассосались, уже нельзя было сделать акцию. Они пропали и не стали явлением. И они даже не сгорели. Куда они подевались вообще? Да и были ли они в реале? Да, на стенах остались висеть черновики. А чистовики где?

В этом номере не было текстов самой Роры. Нилка решила, что все это мелко для великой Роры. Что впереди еще много номеров. Но впереди не было ничего. Главное, она их даже не спросила, не пришла на поклон — покажите, девочки, как. Дайте, что у вас есть. Ведь они дали деньги. А она, балда, решила, что это совсем другое дело. А никакое не другое. То же самое.

Они переехали из уральских далей с вещами на ту самую улицу, где когда-то Волины резали рулон и постепенно делали ремонт. И Нилка молча пошла к пенатам Роры. На день рождения ее мамы, большого серьезного писателя.

Был январский скрипучий морозец. Солнце сверкало кубиком огня в каждом окне, стрелами огня в каждой сосульке. Искры света дрожали в воздухе как иллюминация. Нила плотно запахла шубейку искусственного меха, завязала шарф поверх воротника и зашагала на остановку, таща сумочку с манником, банкой варенья и двумя пачками компьютерной бумаги, которая была тогда драгоценностью. Проходя мимо снесенного забора, в рассеянности наступила на старую доску, и ржавый гвоздь пропорол ее ногу в сапоге. Но она быстро оторвала доску от ноги, отбросила

ее подальше и пошла дальше. Был мороз, ноги заоченели, и она ничего не поняла. А там, у них дома, она выпила рюмочку. Выпила горячего чая, и они бурно заговорили о жизни и искусстве. А может, говорили они, она же просто жадно их слушала.

— Нила, у нас жарко, сапоги можно снять. Или ты стесняешься?

— Нет, не стесняюсь. Я же ненадолго. Сейчас пойду!

Рора в широком джемпере и в шали — образец красноречия. Как она говорила, господи, бедная Нилка подумала, что она на конференции. Великая седая мама говорила мало и тихо, но каждая фраза становилась откровением. Иногда Волиной казалось, что они берут интервью друг у друга. Такой вдохновенной и яркой была их речь, такой подготовленной. Могла ли представить их гостя, что они вовсе не выставят, что они так говорят на самом деле? Что разговор — это их привычное занятие?

Чай заваривая, высокая и худощавая мама, в длинном халате с поясом с кистями и в белых носочках, проговаривала:

— ...И мы стали примерять затрагиваемые философской литературой принципы, глубинно касающиеся каждого, к сегодняшним возможностям человека, страны, традиций, обращенных внутрь. Возникали вопросы и потребность на них ответить. Зашевелилось нечто, закупоренное в человеке: огромное, может быть — главное, которое потребовало работы с собой. Наверное, присутствовал момент обратной отдачи нового, что узнавалось и прошло через опыт: я узнала, значит, нужно, чтобы и другой познакомился с этим. Но это не просто механистическое, в известной мере — трансмиссия, нет, к этому притягиваются и другие составляющие, которые нам, может быть, более интересны. Мы цедили полученные толчки, посадили в собственную почву, в самих себя и начали с этим жить... Мы стали жить нормальной внутренней жизнью, которая, собственно говоря, и положена человеку. Этот процесс должен уходить внутрь и работать, тем самым насыщая все вовне.

Рора:

— Если бы этот информационно-философский пласт был известен в то время, когда ты начинала писать, что бы изменилось? Изменилось бы что-нибудь вообще? Если бы ты начала писать не в шестидесятых годах в России? А вот сразу — это все есть, и что? И как?

Мама:

— Ну-у... Это «а если бы!» Я думаю, что все было бы другим. Я тебе рассказывала уже не единожды — так и осталось у меня в памяти как только что рожденное, в новорожденном яростном ощущении: мне хотелось писать — я не имела, что писать. Я не могла ни о чем! Мне очень хотелось, меня тащило: что-то кем-то сказано — я тоже хочу сказать. Но не имею, что. Наверное, тогда проще бы решался этот вопрос.

Рора:

— У меня ощущение совершенно противоположное. Мне кажется, что Россия — вообще очень пишущая страна, она сейчас не столько читающая, сколько пишущая. И она пишет как раз по той причине, что у нее этот пласт самоосознания был изъят.

Мама:

— Думаю, да...

Нила хотела понять. Но не могла. Она рванулась встать. Но не получилось — ее нога стала огромной и каменной. Пора было ехать домой. Она извинилась и ушла без сознания в расстегнутой сапоге. До автобуса еще ничего. А от автобуса ее тащил какой-то мужик, пропахший бензином. Он ее довел до электробудки с черепом на двери, в ее дворе. И скорее ушел.

Тогда она стала звать на помощь, но люди только недобро оглядывались. Из ее подъезда выскочил сын-школьник, и она закричала что было мочи, но он еле услышал и еле увидел. Морозный снег вспыхивал алмазными звездами, а у нее текли слезы, и она вообще перестала что-либо видеть и понимать от боли. Тогда сын крикнул: «Папа!» — и вышел Волин в шарфе. Они ее довели до дома, сняли шубейку искусственного меха и стащили сапог, набухший кровью.

Муж принес ей тазик с марганцем и рюмку. Нарывала нога. А пульс дергал во всем теле. Беспамяństwo. Снова тазик. Снова рюмка. На третий или четвертый день смогла ступить на ногу. Но сын все равно отвез ее на такси в травматологию. Там осмотрели. Подтвердили, что травма сквозная, но ранка уже затянулась. Сказали: опасности нет, сделали два укола и домой они вернулись пешком.

Волин посматривал на нее с любопытством.

— Почему в тот день ты не вернулась домой? Наступила на гвоздь — вернись. Понятно, что дальше нельзя идти? Или непонятно?

— Нет, непонятно... Я хотела преодолеть. Я обещала. Ты знаешь, как они разговаривают? Ты бы упал вообще!

— Не думаю. Вижу, тяжело тебе дается духовность. Может, не надо так уж?